

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: "Не верь брату родному, верь своему глазу кривому". И это -- самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нем.

[...]

На нас валит накат событий, полмира в одну минуту унает об их выплеске, но мерок -- измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира -- не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок -- и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Все же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признается нами, со всеми его стонами, задуманными криками, погубленными жизнями, хотя бы и миллионами жертв, -- в общем вполне терпимым и сносным размером. [...]

И за это двоеенье, за это остолбенелое непониманье чуждого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жили человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета -- для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто проснит человечеству, что действительно тяжко и невыносимо, а что только близости натирает нам кожу, -- и направит гнев к тому, что

страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это -- искусство. Это -- литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему приходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его कुछе земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими, -- и дает усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает, и на века, когда, кажется, так все наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдумано и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заместитель не пережитого нами опыта -- искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации -- никогда не пережитый этой второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливым случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

[...]

И еще в одном бесценном направлении переносит литература непроверяемый слушанный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее утраченную историю -- в виде, не поддающемся искажению и обогтанию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

[...]

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это -- не просто нарушение "свободы печати", это -- замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, -- и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замiatин, на всю жизнь замурованы живою, осужденны до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, -- это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации. А в иных случаях -- и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком История.